

Леонид Андреев

Вор



Леонид Николаевич Андреев

Вор

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146615

Аннотация

«Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, собрался в гости к своей прежней любовнице, проститутке, жившей верст за семьдесят от Москвы. На вокзале он сидел в буфете I класса, ел пирожки и пил пиво, и ему прислуживал человек во фраке; а потом, когда все двинулись к вагонам, вмешался в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, вытащил кошелек у соседа, пожилого господина. Денег у Юрасова было достаточно, даже много, и эта случайная, необдуманная кража могла только повредить ему. Так оно и случилось. Господин, кажется, заметил покражу, потому что очень пристально и странно взглянул на Юрасова, и хотя не остановился, но несколько раз оглянулся на него...»

Содержание

I	4
II	10
III	16
IV	22
V	26

Леонид Николаевич Андреев Вор

I

Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, собрался в гости к своей прежней любовнице, проститутке, жившей верст за семьдесят от Москвы. На вокзале он сидел в буфете I класса, ел пирожки и пил пиво, и ему прислуживал человек во фраке; а потом, когда все двинулись к вагонам, вмешался в толпу и как-то нечаянно, подчиняясь общему возбуждению, вытащил кошелек у соседа, пожилого господина. Денег у Юрасова было достаточно, даже много, и эта случайная, необдуманная кража могла только повредить ему. Так оно и случилось. Господин, кажется, заметил покражу, потому что очень пристально и странно взглянул на Юрасова, и хотя не остановился, но несколько раз оглянулся на него. Второй раз он увидел господина уже из окна вагона: очень взволнованный и растерянный, со шляпой в руках, господин быстро шел по платформе и заглядывал в лица,

смотрел назад и кого-то искал в окнах вагонов. К счастью, пробил третий звонок, и поезд тронулся. Юрасов осторожно выглянул: господин, все еще со шляпой в руках, стоял в конце платформы и внимательно осматривал пробегающие вагоны, точно отсчитывая их; и в его толстых ногах, расставленных неловко, как попало, чувствовалась все та же растерянность и удивление. Он стоял, а ему, вероятно, казалось, что он идет: так смешно и необыкновенно были расставлены его ноги.

Юрасов выпрямился, выгнув назад колена, отчего почувствовал себя еще выше, прямее и молодеватее, и с ласковой доверчивостью обеими руками расправил усы. Усы у него были красивые, огромные, светлые, как два золотые серпа, выступавшие по краям лица; и, пока пальцы нежились приятным ощущением мягких и пушистых волос, серые глаза с беспредметной наивной суровостью глядели вниз – на переплетающиеся рельсы соседних путей. Со своими металлическими отблесками и бесшумными извивами они похожи были на торопливо убегающих змей.

Сосчитав в уборной украденные деньги – их было двадцать четыре рубля с мелочью, – Юрасов брезгливо повертел в руках кошелек: был он старый, засаленный, и плохо закрывался, и вместе с тем от него пахло духами, как будто очень долго он находился в ру-

ках женщины. Этот запах, немного нечистый, но возбуждающий, приятно напомнил Юрасову ту, к которой он ехал, и, улыбнувшись, веселый, беспечный, расположенный к дружелюбной беседе, он пошел в вагон. Теперь он старался быть как все, вежливым, приличным, скромным; на нем было надето пальто из настоящего английского сукна и желтые ботинки, и он верил в них, в пальто и в ботинки, и был уверен, что все принимают его за молодого немца, бухгалтера из какого-нибудь солидного торгового дома. По газетам он всегда следил за биржей, знал курс всех ценных бумаг, умел разговаривать о коммерческом деле, и иногда ему казалось, что он, действительно, не крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи и сидевший в тюрьме, а молодой порядочный немец, по фамилии Вальтер, по имени Генрих. Генрих – звала его та, к которой он ехал; товарищи звали его «немцем».

– Это место свободно? – вежливо осведомился он, хотя сразу видно было, что место свободно, так как на двух диванчиках сидело только двое, отставной офицер, старичок, и дама с покупками, по-видимому, дачница. Никто ему не ответил, и с изысканной аккуратностью он опустился на мягкие пружины дивана, осторожно вытянул длинные ноги в желтых ботинках и снял шляпу. Потом дружелюбно оглядел старич-

ка-офицера и даму и положил на колено свою широкую белую руку так, чтобы сразу заметили на мизинце перстень с огромным брильянтом. Брильянт был фальшивый и сверкал старательно и голо, и все действительно заметили, но ничего не сказали, не улыбнулись и не стали дружелюбнее. Старик перевернул газету на новую страницу, дама, молоденькая и красивая, уставилась в окно. И уже со смутным предчувствием, что он открыт, что его опять почему-то не приняли за молодого немца, Юрасов тихонько спрятал руку, которая показалась ему слишком большой и слишком белою, и вполне приличным голосом спросил:

– На дачу изволите ехать?

Дама сделала вид, что не слышит и что она очень задумалась. Юрасов хорошо знал это противное выражение лица, когда человек безуспешно и злобно прячет насторожившееся внимание и становится чужим, мучительно чужим. И, отвернувшись, он спросил у офицера:

– Будьте любезны справиться в газете, как стоят Рыбинские? Я что-то не припомню.

Старик медленно отложил газету и, сурово оттянув губы книзу, уставился на него подслеповатыми, как будто обиженными глазами.

– Что? Не слышу!

Юрасов повторил, и, пока он говорил, старательно разделяя слова, старик-офицер неодобрительно оглядел его, как внука, который нашалил, или солдата, у которого не все по форме, и понемногу начал сердиться. Кожа на его черепе между редких седых волос покраснела, и подбородок задвигался.

– Не знаю, – сердито буркнул он. – Не знаю. Ничего тут нет такого. Не понимаю, о чем только люди спрашивают.

И, уже снова взявшись за газетный лист, несколько раз опускал его, чтобы взглянуть сердито на надоедливового господина. И тогда все люди в вагоне показались Юрасову злыми и чуждыми, и странно стало, что он сидит во II классе на мягком пружинном диване, и с глухой тоской и злобой вспоминалось, как постоянно и всюду среди порядочных людей он встречал эту иногда затаенную, а часто открытую, прямую вражду. На нем пальто из настоящего английского сукна, и желтые ботинки, и драгоценный перстень, а они как будто не видят этого, а видят что-то другое, свое, чего он не может найти ни в зеркале, ни в сознании. В зеркале он такой же, как и все, и даже лучше. На нем не написано, что он крестьянин Федор Юрасов, вор, трижды судившийся за кражи, а не молодой немец Генрих Вальтер. И это неуловимое, непонятное, предательское, что видят в нем все, а только он один не

видит и не знает, будит в нем обычную глухую тревогу и страх. Ему хочется бежать, и, оглядываясь подозрительно и остро, совсем теперь не похожий на честного немца-бухгалтера, он выходит большими и сильными шагами.

II

Было начало июня месяца, и все перед глазами, до самой дальней неподвижной полоски лесов, зеленело молодо и сильно. Зеленела трава, зеленели посадки в оголенных еще огородах, и все было так углублено в себя, так занято собою, так глубоко погружено в молчаливую творческую думу, что, если бы у травы и у деревьев было лицо, все лица были бы обращены к земле, все лица были бы задумчивы и чужды, все уста были бы скованы огромным бездонным молчанием. И Юрасов, бледный, печальный, одиноко стоявший на зыбкой площадке вагона, тревожно почувствовал эту стихийную необъятную думу, и от прекрасных, молчаливо-загадочных полей на него повеяло тем же холодом отчуждения, как от людей в вагоне. Высоко над полями стояло небо и тоже смотрело в себя; где-то за спиной Юрасова заходило солнце и по всему простору земли расстилало длинные, прямые лучи, – и никто не смотрел на него в этой пустыне, никто не думал о нем и не знал. В городе, где Юрасов родился и вырос, у домов и улиц есть глаза, и они смотрят ими на людей, одни враждебно и зло, другие ласково, – а здесь никто не смотрит на него и не знает о нем. И вагоны задумчивы: тот, в котором находится Юрасов, бежит

нагнувшись и сердито покачиваясь; другой, сзади, бежит ни быстрее ни медленнее, как будто сам собой, и тоже как будто смотрит в землю и прислушивается. А по низу, под вагонами, стелется разноголосый грохот и шум: то как песня, то как музыка, то как чей-то чужой и непонятный разговор – и все о чужом, все о далеком.

Есть тут и люди. Маленькие, они что-то делают в этой зеленой пустыне, и им не страшно. И даже весело им: вот откуда-то принесся обрывок песни и утонул в грохоте и музыке колес. Есть тут и дома. Маленькие, они разбросались свободно, и окна их смотрят в поле. Если ночью подойти к окну, то увидишь поле – открытое, свободное, темное поле. И сегодня, и вчера, и каждый день, и каждую ночь проходят здесь поезда, и каждый день раскидывается здесь это тихое поле с маленькими людьми и домами. Вчера Юрасов в эту пору сидел в ресторане «Прогресс» и не думал ни о каком поле, а оно было такое же, как сегодня, такое же тихое, красивое, о чем-то думающее. Вот прошла небольшая роща из старых больших берез с грачиными гнездами в зеленых верхушках. И вчера, пока Юрасов сидел в ресторане «Прогресс», пил водку, галдел с товарищами и смотрел на аквариум, в котором плавают бессонные рыбы, – все так же глубоко покойно стояли эти березы, и мрак был под ними и вокруг них.

Со странной мыслью, что только город – настоящее, а это все призрак, и что если закрыть глаза и потом открыть их, то никакого поля не будет, – Юрасов крепко зажмурился и притих. И сразу стало так хорошо и необыкновенно что уже не захотелось снова открывать глаза, да и не нужно было: исчезли мысли и сомнения и глухая постоянная тревога; тело безвольно и сладко колыхалось в такт дыханием вагона, и по лицу нежно струился теплый и осторожный воздух полей. Он доверчиво поднимал пушистые усы и шелестел в ушах, а внизу, под ногами расстилался ровный и мелодичный шум колес, похожий на музыку, на песню, на чей-то разговор о далеком, грустном и милом. И Юрасову смутно грезилось, что от самых ног его, от склоненной головы и лица, трепетно чувствующего мягкую пустоту пространства, начинается зелено-голубая бездна, полная тихих слов и робкой, притаившейся ласки. И так странно – как будто где-то далеко шел тихий и теплый дождь.

Поезд замедлил бег и остановился на мгновение, на одну минуту. И сразу со всех сторон Юрасова охватила такая необъятная и сказочная тишина, как будто это была не минута, пока стоял поезд, а годы, десятки лет, вечность. И все было тихо: темный, облитый маслом маленький камень, прильнувший к железному рельсу, угол красной крытой платформы, низень-

кой и пустынной, трава на откосе. Пахло березовым листом, лугами, свежим навозом – и этот запах был все той же всевременною необъятной тишиною. На смежное полотно, неуклюже цепляясь за поручни, соскочил какой-то пассажир и пошел. И такой был он странный, необыкновенный в этой тишине, как птица, которая всегда летает, а теперь вздумала пойти. Здесь нужно летать, а он шел, и тропинка была длинная, безвестная, а шаги его маленькие и короткие. И так смешно перебирал он ногами – в этой необъятной тишине.

Бесшумно, точно сам стыдясь своей громогласности, двинулся поезд и только за версту от тихой платформы, когда бесследно сгнула она в зелени леса и полей, свободно загрохотал он всеми звеньями своего железного туловища. Юрасов в волнении прошелся по площадке, такой высокий, худощавый, гибкий, бессознательно расправил усы, глядя куда-то вверх блестящими глазами, и жадно прильнул к железной задвижке, с той стороны вагона, где опускалось за горизонт красное огромное солнце. Он что-то нашел; он понял что-то, что всю жизнь ускользало от него и делало эту жизнь такой неуклюжею и тяжелой, как тот пассажир, которому нужно было бы лететь, как птице, а он шел.

– Да, да, – серьезно и озабоченно твердил он и ре-

шительно покачивал головою. – Конечно, так. Да. Да.

И колеса гулко и разногласно подтверждали: «Конечно, так, да, да». «Конечно, так, да, да». И как будто так и нужно было: не говорить, а петь, – Юрасов запел сперва тихонько, потом все громче и громче, пока не слился его голос со звоном и грохотом железа. И тактом для этой песни был стук колес, а мелодией – вся гибкая и прозрачная волна звуков. Но слов не было. Они не успевали сложиться; далекие и смутные, и страшно широкие, как поле, они пробегали где-то с безумной быстротою, и человеческий голос свободно и легко следовал за ними. Он поднимался и падал; и стлался по земле, скользя по лугам, пронизывая лесную чащу; и легко возносился к небу, теряясь в его безбрежности. Когда весною выпускают птицу на свободу, она должна лететь так, как этот голос: без цели, без дороги, стремясь исчертить, обнять, почувствовать всю звонкую ширь небесного пространства. Так, вероятно, запели бы сами зеленые поля, если бы дать им голос; так поют в летние тихие вечера те маленькие люди, что копошатся над чем-то в зеленой пустыне.

Юрасов пел, и багровый отсвет заходящего солнца горел на его лице, на его пальто из английского сукна и желтых ботинках. Он пел, провожая солнце, и все грустнее становилась его песня: как будто почувство-

вала птица звонкую ширь небесного пространства, содрогнулась неведомою тоскою и зовет кого-то: приди.

Солнце зашло, и серая паутинка легла на тихую землю и тихое небо. Серая паутина легла на лицо, меркнут на нем последние отблески заката, и мертвет оно. Приди ко мне! отчего ты не приходишь? Солнце зашло, и темнеют поля. Так одиноко, и так больно одинокому сердцу. Так одиноко, так больно. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля. Приди же, приди!

Так плакала его душа. А поля все темнели, и только небо над ушедшим солнцем стало еще светлее и глубже, как прекрасное лицо, обращенное к тому, кого любят и кто тихо, тихо уходит.



Проследовал контроль, и кондуктор вскользь грубо заметил Юрасову:

– На площадке стоять нельзя. Идите в вагон. И ушел, сердито хлопнув дверью. И так же сердито Юрасов послал ему вдогонку:

– Болван!

Ему подумалось, что все это, и грубые слова и сердитое хлопанье дверью, все это идет оттуда, от порядочных людей в вагоне. И снова, чувствуя себя немцем Генрихом Вальтером, он обидчиво и раздраженно, высоко поднимая плечи, говорил воображаемому солидному господину:

– Нет, какие грубияны! Всегда и все стоят на площадке, а он: нельзя. Черт знает что!

Потом была остановка с ее внезапной и властной тишиною. Теперь, к ночи, трава и лес пахли еще сильнее, и сходившие люди уже не казались такими смешными и тяжелыми: прозрачные сумерки точно окрылили их, и две женщины в светлых платьях, казалось, не пошли, а полетели, как лебеди. И снова стало хорошо и грустно, и захотелось петь, – но голос не слушался, на язык подвертывались какие-то ненужные и скучные слова, и песня не выходила. Хотелось задуматься.

маться, заплакать сладко и безутешно, а вместо того все представляется какой-то солидный господин, которому он говорит вразумительно и веско:

– А вы заметили, как поднимаются сормовские?

И темные сдвинувшиеся поля снова думали о чем-то своем, были непонятны, холодны и чужды. Разноголосо и бестолково толкались колеса, и казалось, что все они цепляются друг за друга и друг другу мешают. Что-то стучало между ними и скрипело ржавым скрипом, что-то отрывисто шаркало: было похоже на толпу пьяных, глупых, бестолково блуждающих людей. Потом эти люди стали собираться в кучку, перестраиваться, и все запестрели яркими кафешантанскими костюмами. Потом двинулись вперед и все разом пьяным, разгульным хором гаркнули:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Так омерзительно живо вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал во всех городских садах, которую пели его товарищи и он сам, что захотелось отмахиваться от нее руками, как от чего-то живого, как от камней, брошенных из-за угла. И такая жестокая власть была в этих жутко бессмысленных словах, липких и наглых, что весь длинный поезд сотнею крутящихся колес подхватил их:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

Что-то бесформенное и чудовищное, мутное и лип-

кое тысячами толстых губ присасывалось к Юрасову, целовало его мокрыми нечистыми поцелуями, гоготало. И орало оно тысячами глоток, свистало, выло, клу- билось по земле, как бешеное. Широкими круглыми рожам представлялись колеса, и сквозь бесстыжий смех, уносясь в пьяном вихре, каждое стучало и выло:

– Маланья моя, лупо-гла-за-я...

И только поля молчали. Холодные и спокойные, глубоко погруженные в чистую творческую думу, они ничего не знали о человеке далекого каменного города и чужды были его душе, встревоженной и ошеломленной мучительными воспоминаниями. Поезд уносил Юрасова вперед, а эта наглая и бессмысленная песня звала его назад, в город, тащила грубо и жестоко, как беглеца-неудачника, пойманного на пороге тюрьмы. Он еще упирается, он еще тянется руками к неизведанному счастливому простору, а в голове его уже встают, как роковая неизбежность, жестокие картины неволи среди каменных стен и железных решеток. И то, что поля так холодны и равнодушны и не хотят ему помочь, как чужому, наполняет Юрасова чувством безысходного одиночества. И Юрасов пугается – так неожиданно, так огромно и ужасно это чувство, выбрасывающее его из жизни, как мертвого. Если бы он заснул на тысячу лет и проснулся среди нового мира и новых людей, он не был бы более одинок, бо-

лее чужд всему, чем теперь. Он хочет вызвать из памяти что-нибудь близкое, милое, но его нет, а наглая песня ревет в поработанном мозгу и родит печальные и жуткие воспоминания, бросающие тень на всю его жизнь. Вот тот же сад, где пели эту «Маланью». И в этом саду он украл что-то, и его ловили, и все были пьяны: и он, и те, кто гнались за ним с криком и свистом. Он спрятался где-то, в каком-то темном углу, в черной дыре, и его потеряли. Он долго сидел там, возле каких-то старых досок, из которых торчали гвозди, рядом с развалившейся бочкою засохшей извести; чувствовались свежесть и покой разрыхленной земли, и молодым тополем сильно пахло, а по дорожкам, недалеко от него, гуляли разодетые люди, и музыка играла. Прошла мимо серая кошка, задумчивая, равнодушная к слову и музыке, — такая неожиданная в этом месте. И она была добрая кошка: Юрасов позвал ее: «кыс-кыс», и она подошла, помурлыкала, потерлась у его колен и дала поцеловать себя в мягкую мордочку, пахнущую мехом и селедкой. От его поцелуев она зачихала и ушла, такая важная и равнодушная, как высокопоставленная дама, а он после этого вылез из своей засады, и его схватили.

Но там была хоть кошка, а здесь только равнодушные и сытые поля, и Юрасов начинает ненавидеть их всею силою своего одиночества. Если бы дать ему си-

лу, он забросал бы их камнями; он собрал бы тысячу людей и велел бы вытоптать догола нежную лживую зелень, которая всех радует, а из его сердца пьет последнюю кровь. Зачем он поехал? Теперь он сидел бы в ресторане «Прогресс», и пил бы вино, и разговаривал, и смеялся. И он начинает ненавидеть ту, к которой едет, убогую и грязную подругу своей грязной жизни. Теперь она богатая и сама содержит девушек для продажи; она любит его и дает ему денег, сколько он захочет, а он приедет и изобьет ее до крови, до поросычьего визга. А потом он напьется пьян и будет плакать, душить себя за горло и петь, рыдая:

– Маланья моя...

Но колеса уже не поют. Устало, как больные дети, они жалобно рокочут и точно жмутся друг к другу, ища ласки и покоя. С высоты спокойно глядит на него строгое звездное небо, и со всех сторон обнимает его строгая, девственная тьма полей, и одинокие огоньки в ней – как слезы чистой жалости на прекрасном задумчивом лице. А далеко впереди маячит зарево станционных огней, и оттуда, от этого светлого пятна, вместе с теплым и свежим воздухом ночи, прилетают мягкие и нежные звуки музыки. Кошмар исчез, – и с привычной легкостью человека, который не имеет места на земле, Юрасов сразу забывает его и взволнованно прислушивается, улавливая знакомую мело-

дию.

– Танцуют! – говорит он и вдохновенно улыбается и счастливыми глазами оглядывается кругом, поглаживая себя руками, точно обмываясь. – Танцуют! Ах, ты, черт возьми. Танцуют!

Расправляет плечи, незаметно выгибается в такт знакомому танцу, весь наполняется живым чувством ритмического красивого движения. Он очень любит танцы и, когда танцует, становится очень добр, ласков и нежен, и уже не бывает ни немцем Генрихом Вальтером, ни Федором Юрасовым, которого постоянно судят за кражи, а кем-то третьим, о ком он ничего не знает. И когда с новым порывом ветра рой звуков уносится в темное поле – Юрасов пугается, что это навсегда, и чуть не плачет. Но еще более громкими и радостными, словно сил набравшись в темном поле, возвращаются умчавшиеся звуки, и Юрасов счастливо улыбается:

– Танцуют. Ах, ты, черт возьми!

IV

Возле самой станции танцевали. Дачники устроили бал: пригласили музыку, навешали вокруг площадки красных и синих фонариков, загнав ночную тьму на самую верхушку деревьев. Гимназисты, барышни в светлых платьях, студенты, какой-то молоденький офицер со шпорами, такой молоденький, как будто он нарочно нарядился военным, – плавно кружились по широкой площадке, поднимая песок ногами и развевающимися платьями. При обманчивом сумеречном свете фонариков все люди казались красивыми, а сами танцующие – какими-то необыкновенными существами, трогательными в своей воздушности и чистоте. Кругом ночь, а они танцуют; если только на десять шагов отойти в сторону от круга, необъятный всевластный мрак поглотит человека, – а они танцуют, и музыка играет для них так обаятельно, так задумчиво и нежно.

Поезд стоит пять минут, и Юрасов вмешивается в толпу любопытных: темным бесцветным кольцом облегли они площадку и цепко держатся за проволоку, такие ненужные, бесцветные. И одни из них улыбаются странную осторожную улыбкой, другие хмуры и печальны – той особенной бледной печалью, какая ро-

дится у людей при виде чужого веселья. Но Юрасову весело: вдохновенным взглядом знатока он приглядывается к танцорам, одобряет, легонько притоптывает ногой и внезапно решает:

– Не поеду. Останусь танцевать!

Из круга, небрежно раздвигая толпу, выходят двое: девушка в белом и высокий юноша, почти такой же высокий, как Юрасов. Вдоль полусонных вагонов, в конец дощатой платформы, где сторожко насупился мрак, идут они красивые и как будто несут с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, что девушка светится, – так бело ее платье, так черны брови на ее белом лице. С уверенностью человека, который хорошо танцует, Юрасов нагоняет идущих и спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, где здесь можно достать билеты на танцы?

У юноши нет усов. Строгим взглядом вполоборота он окидывает Юрасова и отвечает:

– Здесь только свои.

– Я проезжий. Меня зовут Генрих Вальтер.

– Вам же сказано: здесь только свои.

– Меня зовут Генрих Вальтер, Генрих Вальтер.

– Послушайте! – Юноша угрожающе останавливается, но девушка в белом увлекает его.

Если бы она только взглянула на Генриха Вальте-

ра! Но она не смотрит и, вся белая, светящаяся, как облако противу луны, долго еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.

– И не надо! – гордо вслед им шепчет Юрасов, а в душе его становится так бело и холодно, как будто снег там выпал – белый, чистый, мертвый снег.

Поезд еще стоит почему-то, и Юрасов прохаживается вдоль вагонов, такой красивый, строгий и важный в своем холодном отчаянии, что теперь никто не принял бы его за вора, трижды судившегося за кражи и много месяцев сидевшего в тюрьме. И он спокоен, все видит, все слышит и понимает, и только ноги у него как резиновые – не чувствуют земли, да в душе что-то умирает, тихо, спокойно, без боли и содрогания. Вот и умерло оно.

Музыка снова играет, и в ее плавные танцующие звуки вмешиваются отрывки странного, пугающего разговора:

– Слушайте, кондуктор, отчего не идет поезд?

Юрасов замедляет шаги и вслушивается. Кондуктор сзади равнодушно отвечает:

– Стоит, стало быть, есть причина. Машинист танцевать пошел.

Пассажир смеется, и Юрасов идет дальше. На обратном пути он слышит, как два кондуктора говорят:

– Будто он в этом поезде.

– А кто же его видел?

– Да никто не видел. Жандарм сказывал.

– Врет твой жандарм, вот что. Тоже не глупее его люди...

Бьет звонок, и Юрасов одну минуту в нерешимости. Но с той стороны, где танцы, идет девушка в белом с кем-то под руку, и он вскакивает на площадку и переходит на другую ее сторону. Так он и не видит ни девушки в белом, ни танцующих; только музыка в одно мгновение обдает его затылок волною горячих звуков, и все пропадает в темноте и молчании ночи. Он один на зыбкой площадке вагона, среди смутных силуэтов ночи; все движется, все идет куда-то, не задевая его, такое постороннее и призрачное, как образы сна для спящего человека.

V

Толкнув дверь Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная, расплывающаяся фигура с торопливыми наступающими движениями произвела впечатление мгновенного, резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая – и, как огонь, вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали и теперь ловят по вагонам. Тот «он», о котором так загадочно говорили кондуктора, есть именно Юрасов: и так страшно – узнать и найти себя в каком-то безличном «он», о котором говорят посторонние незнакомые люди.

И теперь они продолжают говорить о «нем», ищут «его». Да, там, от последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарями, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются

к «нему», к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.

Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой скорости нельзя, до ближайшей остановки еще далеко; нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться – та же остановка и замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подозрительным, держа наготове изысканно-вежливое и убедительное «pardon!» – но в полутемном вагоне III класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и теряется в чувстве нового неожиданного страха. Как пробиться сквозь эту стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечи, они перекидываются с одной лавочки на другую – вялые, как будто податливые и страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять прежнюю позу. Как пруж-

жины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери, но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей – и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона – с тою же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись, как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как у быка, и темный ужас животного, которое преследуют, и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись, как бык, преодолевая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.

В вагоне I класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавески.

веску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.

– Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon. Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.

– Pardon! – говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.

А потом снова эти ужасные вагоны III класса – как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.

И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая

стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет – как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стелая от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всею своею топчущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один – а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.

Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшум-

но реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может, за четыре, быть может, только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери... еще одни двери...

Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полосу, закрывающую вход, и, перегнувшись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба – и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клоч, как будто это са-

мое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..

После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет, бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона – когда огненный хриплый широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:

– А-га-а-а!..

И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и прыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял ли-

цо со смятыми усами и беззубым ртом, – прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.

Значения их он не понял.

Сентябрь 1904 г.